



Письма и заметки  
Н. С. Трубецкого



# ПИСЬМА И ЗАМЕТКИ Н. С. ТРУБЕЦКОГО



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
Москва 2004



Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда  
(РГНФ)  
проект № 02-04-16097

П 35

Письма и заметки Н. С. Трубецкого / Вступит. ст. В. Н. Топорова; Подгот. к изд. Р. Якобсона при участии Х. Барана, О. Ронена, М. Тейлор; Пер. предисл. В. А. Плунгяна; Пер. примеч. В. А. Плунгяна и Д. А. Паперно под ред. В. А. Плунгяна; Пер. и ред. указателей Д. В. Сичинавы. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 608 с., ил., разд. паг. i—lxxvi; I—XVI; 1—504, вклейка после с. 218.

ISBN 5-94457-170-5

Письма Н. С. Трубецкого к Р. О. Якобсону с комментариями последнего — это один из важнейших памятников истории отечественной гуманитарной мысли. Переписка двух ученых охватывает период почти в два десятилетия, и именно на это время — 1920-е и 1930-е годы — приходится становление основных парадигм пражского структурализма. Письма Н. С. Трубецкого раскрывают работу той интеллектуальной мастерской, в которой рождались и вызревали идеи, сформировавшие главные направления историко-филологических и лингвистических исследований межвоенного периода и определившие существенные черты последующего развития. В переписке отразились различные этапы работы Трубецкого над его «Основами фонологии», статьями по морфонологии, трудами по славянскому языкознанию и русской литературе. Поразительное богатство мыслей, запечатлевшееся в этой переписке, включает и многие замыслы, к которым Трубецкой так и не успел обратиться. Вместе с тем переписка представляет собой важнейший документ эпохи, дающий возможность увидеть, в каком политическом и историческом контексте развивалась гуманитарная мысль русской эмиграции. Первое издание переписки было подготовлено самим Р. О. Якобсоном при содействии его учеников. Для российского читателя оно оставалось практически недоступным. Между тем книга представляет интерес для широкого круга читателей — филологов, историков, лингвистов и просто любителей отечественного прошлого.

ББК 81

## ПИСЬМА И ЗАМЕТКИ Н. С. ТРУБЕЦКОГО

Издатель А. Кошелев

Корректор С. Козлова

Подписано в печать 02.12.2003. Формат 70х100 1/16. Бумага офсетная № 1.

печать офсетная, гарнитура «Times». Усл. п. л. 49,02. Заказ № 9423

Издательство «Языки славянской культуры».

ЛР № 02745 от 04.10.2000. Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. M153).

E-mail: lrc-kozlov@mtu-net.ru, lrc@comtv.ru

Каталог в ИНТЕРНЕТ <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-mik.narod.ru>

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов

в ППП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: ko-shelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G•E•C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книоторговая фирма G•E•C GAD.

ISBN 5-94457-170-5



9 785944 571700 &gt;

© Copyright 1975 in The Netherlands. Mouton &amp; Co. N. V. Publishers, The Hague

© В. А. Плунгян, Д. А. Паперно. Пер. на рус. яз., 2004

© В. Н. Топоров. Вступительная статья, 2004

© Д. В. Сичинава. Пер. и ред. указателей, 2004

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Николай Сергеевич Трубецкой в письмах друзьям и сотрудникам любил обсуждать свои — и их — текущие научные исследования. Основной темой писем, публикуемых в настоящем томе (как и переписки НС в целом), является исследовательская работа ученого и его корреспондентов, а также организационные перспективы развития и расширения их деятельности.

Все письма, воспроизводимые ниже, адресованы людям, так или иначе связанным с наукой о языке и искусстве слова; вне публикуемого собрания остаются достаточно многочисленные (и сохранившиеся лишь частично) письма, в которых НС касается преимущественно идеологических и политических вопросов евразийского движения, обращаясь к убежденным сторонникам или критикам последнего.

Написанное еще в Москве письмо юного Трубецкого знатоку языков чукотской семьи В. Г. Богораз-Тану (прил. I) дополняет автобиографические сведения из приложений к «Основам фонологии» НС (см. ниже, с. 443) относительно палеоазиатских исследований его ранней юности. Все остальные из 214 писем настоящего тома относятся к последним восемнадцати годам жизни ученого, начиная с бегства за границу в 1920 г. и вплоть до его безвременной смерти в 1938 г. Просьба НС в его письме из Константинополя (от 10/V 1920; прил. Ia) о возможности получения доцентуры, обращенная к известному болгарскому университетскому деятелю И. Шишманову, служит хорошим фоном для юмористических воспоминаний венского слависта о том, как в давние стамбульские дни перед ним стоял выбор из двух равно ненадежных перспектив — возобновить научные занятия или же податься в чистильщики обуви (это ремесло он, забавы ради, освоил некогда в юности).

Последнее письмо из публикуемых в настоящем томе (от 30/V 1938; прил. Ig) обращено к Эли Фишер-Йергенсен и продиктовано НС жене, когда он уже находился в больнице. Как свидетельствовала эта последняя в сообщении для немецкого издателя «Основ», «оставаться в университете у него не было ни возможности, ни желания. Эмиграция представлялась ему, в случае его выздоровления, единственным выходом». Но и в этом письме, отправленном всего за несколько дней до смерти, профессиональные неурядицы и смертельная болезнь преодолеваются размышлениями НС о подготовке фонологического «*privatissimum*» для избранной аудитории.

Все организации и частные лица, предоставившие в наше распоряжение ценные документы, помещенные в Приложениях, а также оказавшие помощь в составлении именного указателя, заслуживают самой глубокой признательности и благодарности.



### От редактора перевода

*Комментарии Р. О. Jakobson в подлиннике даны по-английски. В настоящем издании они полностью переведены на русский язык, по возможности с сохранением особенностей оформления и стилистики оригинала. В ряде случаев, однако, библиографические ссылки приведены в большее соответствие с современными нормами. Кроме того, добавлены примечания переводчика (в тексте они всюду специально отмечены и выделены курсивом), в которых поясняются некоторые фактические реалии, могущие быть неясными современному читателю, и содержатся библиографические уточнения — главным образом, это касается новых изданий работ Н. С. Трубецкого в русских переводах, не существовавших в момент выхода первого издания книги.*

## В. Н. Топоров

Николай Сергеевич Трубецкой — ученый, мыслитель, человек

(к столетию со дня рождения)\*

«История русской культуры, вся она в перебоях, в приступах, в отречениях или увлечениях, в разочарованиях, изменах, разрывах, — писал Г. Флоровский. — Всего меньше в ней непосредственной цельности. Русская историческая ткань так странно спутана, и вся точно перемята и оборвана. <...> Издавна русская душа живет и пребывает во многих веках и возрастах сразу. Не потому, что торжествует или возвышается над временем. Напротив, расплывается во временах. Несоизмеримые и разновременные душевные формации как-то совмещаются и срастаются между собой. Но сrostок не есть синтез. Именно синтез и не удавался... Эта сложность души — от слабости, от чрезмерной впечатлительности... В русской душе есть опасная склонность, есть предательская способность к тем культурно-психологическим превращениям или перевоплощениям, о которых говорил Достоевский в своей Пушкинской речи. <...> Этот дар “всемирной отзывчивости”, во всяком случае, роковой и двусмысленный дар. Повышенная чуткость и отзывчивость очень затрудняет творческое собирание души. В этих странствиях по временам и культурам всегда угрожает опасность не найти самого себя. Душа теряется, сама себя теряет, в этих переливах исторических впечатлений и переживаний. Точно не поспевает сама к себе возвращаться, слишком многое привлекает ее и развлекает, удерживает в инобытии. И создаются в душе какие-то кочевые привычки, — привычки жить на развалинах или в походных шатрах. Русская душа плохо помнит родство. И всего настойчивее в отрицаниях и отречениях... Принято говорить о русской мечтательности, о женской податливости русской души... В этом есть известная правда... <...> Только любовь есть подлинная сила синтеза и единства. И вот, русская душа не была тверда и предана в этой своей последней любви. Слишком часто заболела она мистическим непостоянством. Слишком привыкли русские люди праздно томиться на роковых перекрестках, у перепутных крестов. “Ни Зверя скиптр нести не смея, ни иго легкое Христа”... И есть в русской душе даже какая-то особенная страсть и притяжение к таким перепутиям и перекресткам. Нет решимости сделать выбор. Нет воли принять ответственность. Есть что-то артистическое в русской душе, слишком много игры. Душа растягивается, тянется и томится среди очарования. Но очарование не есть любовь. <...> Укрепляет только жертвенная и волевая любовь, не накат страсти, не медиумизм тайного сродства. Но не было в русской душе именно этой жертвенности, не было этого самоотречения перед истиной, этого последнего смирения в любви. Душа двоится и змеится в своих привязанностях. И позже всего просыпается в русской душе логическая совесть, — искренность и ответственность в познании. <...> В русском переживании истории всегда преувеличивается значение безличных, даже бессознательных, каких-то стихийных сил, “органических процессов”, “власть земли”, точно история совершается скорее в страдательном залоге, более случается, чем творит-

\* Публикуется по: Н. С. Трубецкой и современная филология. М., 1993, 31—118.

ся. ...Выпадает категория ответственности. И это при всей исторической чувствительности, восприимчивости, наблюдательности... В истории русской мысли с особенной резкостью сказывается эта безответственность народного духа. И в ней завязка русской трагедии культуры... Это христианская трагедия, не эллинская античная. Трагедия вольного греха, трагедия ослепшей свободы, — не трагедия слепого рока или первобытной тьмы. Это трагедия двоящейся любви, трагедия мистической неверности и непостоянства. Это трагедия духовного рабства и одержимости... Поэтому и вырваться из этого преисподнего смерча страстей можно только в покаянном бдении, в возвращении, собирании и трезвении души...» («Пути русского богословия». 2-е изд. Р., 1981. С. 500—502).

Жизнь и жизненное дело Н. С. Трубецкого, то, как выживалась эта жизнь, и делалось это дело, видятся на фоне нарисованной выше и в целом весьма справедливой картины как яркая контрастная вспышка, как преодолевающее энтропию собирание «русской исторической ткани», как становление нового человека, достойного его жизненного дела. А это жизненное дело и состояло в собирании и трезвении души, в выборе пути через «внутреннюю пустыню» возвращающегося духа, при свете пробудившейся «логической совести» и становящейся «категории ответственности». Жизнь Н. С. Трубецкого во всей ее цельности, подлинной синтетичности, слитности желания и долга и стала главным, первичным и самым наглядным подтверждением его жизненного дела. Все остальное, каким бы важным оно ни было, производно, как результат развертывания исходных импульсов и энергий. И если мы прежде всего замечаем «производное», то это следствие аберрации нашего ложно ориентируемого взгляда и отвычки от углубленного и свободного от разного рода «автоматизмов» размышления.

Приведенные выше слова о трагедии русской культуры и о завязке ее в глубочайше укорененных свойствах русской души так суровы и горьки, что могут, особенно при первой встрече с ними, вызвать желание оспорить их и оспорить прежде, нежели осознать предмет спора, но они, эти слова, ответственные, честные, и трудно не понять и уж во всяком случае не почувствовать, что в них — п р а в д а, отвернуться от которой — грех. Но главное даже не в этом. Что логическая совесть, ответственность в познании, активное строительство истории, собирание и трезвение души, аскеза полезны и необходимы, — не вызывает сколько-нибудь серьезных сомнений. Но что делать русскому человеку с тем, что ему дорого, или с тем, что так приросло к нему и стало его второй натурой, основанием для того, чтобы считать его русским — с жизнью во многих веках и возрастах сразу, повышенной впечатлительностью, чуткостью, «всемирной отзывчивостью», устремленностью к другому? Ведь это не только соблазн и грех русской жизни, культуры, истории. За этими свойствами «русской души», — конечно, далеко не всякой, а той лучшей или во всяком случае наиболее открытой добру, с которой связывала свои надежды великая русская литература, и не просто «реально» существующей русской души, но скорее взыскуемой, чаемой, поставляемой себе как цель, — все-таки угадывается нечто сокровенное и дорогое, зачеркнуть и уничтожить которое «просто так» было бы еще более страшным грехом, ка-



ковой и творился в России большую часть нашего века. Ведь все эти «отрицательные» или, по крайней мере, затрудняющие творческое собирание души свойства могут быть естественно-разумно увидены и в менее опасном свете — хотя бы как «положительно-отрицательные», т. е. такие, которые нуждаются не просто в их отбрасывании или зачеркивании (да и выполнима ли такая задача вообще?), но в некоем «дифференцированно-амелиорирующем» взращивании, в формировании того ядра, из которого может и при соответствующих условиях должна возникнуть «новая», лучшая прежней, но все-таки с нею связанная и ее продолжающая душа и из нее вырастающее новое сознание, новая ответственность, новая нравственность, новый тип исторического бытия, встретившись с которым, все люди доброй воли сказали бы — «Да будет!». Более того, эти «положительно-отрицательные» (по сути же своей, нейтральные) свойства, чье «склонение» в дурную сторону не столько характеристика их самих или неизбежно присутствующего в них дефекта, сколько следствие того «исторического» (в широком смысле слова) контекста, в котором они оказались, выглядят, пожалуй, как некие специализированные варианты какого-то более фундаментального свойства, порождающего и эти частные черты.

Широта-открытость могла бы претендовать на эту определяющую роль, и такой выбор получает свое объяснение при обращении к характерному, извне нередко воспринимаемому как некое патологическое отклонение от нормы, «русскому» варианту, предполагающему такую гипертрофированную широту-открытость, что центр «своей» жизни как бы теряет актуальность и притягательность, внимание переносится на другие, «чужие» центры, к тому же нередко ложно истолковываемые, и формируется та «эксцентрическая» установка (именно в этом смысле любил употреблять слово «эксцентризм» Трубецкой), которая вызывает нередкое равнодушие и охлаждение к «своему» делу, уводит в сторону от выполнения его и манит человека соблазнами «чужого», дальнего, часто вообще иллюзорного. Это свойство широты-открытости не просто эмпирическая данность некоего культурного типа, но нечто основоположное или этому основоположному соответствующее: ландшафт души и структура пространства соотнесены друг с другом, и в чем-то важном и глубинном изоморфны между собой. Если говорить об опасных следствиях, то широта души как бы снимает необходимость ответственного выбора, его можно отложить или снять, пытаюсь примирить непримиримое или полагаясь на «авось». Широта пространства суфлирует душе именно в этом направлении: всегда есть место, есть соответствующее этому «широкому» месту время, никогда не поздно сделать выбор. Время как бы освобождается от ответственности — от принятия решения действовать, сделанного в «узком» месте и в «узкое» время — в то единственное, когда оно необходимо: в нужном месте и в нужное время. Правильный выбор таких условий воспитывает душу, и сознание долга, ответственности и умение жить в соответствии с ними, т. е. считать их *необходимыми*, — из лучших плодов такого воспитания души, без которого жизнь в «истории» трудна, бедна, ущербна. Нет сомнения, что такая широта-открытость без соответствующего воспитания души порождает экстенсивные тенденции, пассивность, нео-

бязательность, снижение профессионального уровня «умений», психологию ожидания, соблазны ума и чувства, ведущие к совмещению в душе слишком разного — и идеала Мадонны, и содомского идеала, о чем и были сказаны знаменитые слова Мити Карамазова — «Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил», и суждение это необходимо именно из-за силы соблазнов «отрицательного» («В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ли ты эту тайну иль нет?»). Своеволие мысли, ослабление ответственности, нечувствие к тем ситуациям, когда судьба призывает к выбору, к выполнению долга, или даже сознательное избегание подобных ситуаций — главные соблазны «широкой» души, и в той или иной степени эта опасность присутствовала в русской истории и осознавалась лучшими людьми в разных слоях русского общества.

Н. С. Трубецкой в этом контексте привлекает к себе внимание, между прочим, и тем, что он оказался одним из немногих, кто, не поступившись широкой духа, мысли, интересов, нашел путь преодоления названных выше соблазнов и из самых разных элементов жизненной эмпирии — «своих» и «чужих», близких и далеких — сумел создать столь организованную «конструкцию», в которой все «разное» оказалось на потребу единого. Эта «конструкция» — определяющая для Трубецкого как человека, как мыслителя и как ученого, и в этом отношении он являет собой удивительный пример подлинной цельности и единства. Под этим углом зрения вся жизнь и деятельность Трубецкого своего рода иероглиф, высокий смысл которого в главном понятен, хотя полная оценка его все-таки невозможна без определения того, з н а - к о м чего предстает этот иероглиф. Этим как бы вовне лежащим «обозначаемым» была русская жизнь предреволюционной поры, взятая в высшем цветении ее творческого гения — в литературе и искусстве, в философской и религиозной мысли, в науке — том цветении, равного которому, видимо, не было в русской истории. Русская культура, как бы предчувствуя предстоящие ей страшные испытания, спешила раскрыть всю свою глубину и многообразие, засвидетельствовать своими достижениями свой уровень и хотя бы намекнуть на свои возможности, которые должны были стать реальностью в 20—30-е годы и которые ею не стали, если не говорить о редких исключениях. В предчувствии своего гибельного пути русская культура начала века стала средоточием стихии providенциального, пророческого, напутственного, и сейчас, спустя многие десятилетия, знаки грядущей катастрофы все отчетливее проступают на лике русской культуры того времени, порою сливаясь в тот «текст беды», который мы, живущие в конце века, хорошо знаем и который русская культура начала века в лице лучших ее представителей предощущала, тревожно предупреждая о его сложении. Предупреждения или не были услышаны или ими не успели воспользоваться, но заветы остались, и наступающее новое время все чаще и глубже будет возвращаться к ним.

Кто же были эти творцы высшего цветения русской культуры, много ли их было и в чем состоял смысл их творческого подвига?

Нас таких в России, может быть, около тысячи человек; действительно, может быть не больше, но ведь этого очень довольно, чтобы не умирать идее. Мы, носители идеи, мой милый!.., — говорит Версиков Арка-